



Александр Александрович Козловский родился в 1967 году в Тюмени. Окончил Тюменский индустриальный институт, а затем и Тюменский юридический институт МВД РФ. Он автор трех книг: двух прозаических («Люди сказывают», «Откровенно говоря») и одной поэтической («Стихи?»). Публиковался в региональной и центральной периодике. Член Союза писателей России.

В настоящее время проживает в г. Сургуте. Проходит службу в УВД ХМАО, майор милиции.

ПОПУТЧИК

Рассказ

Он вошёл на одной из крохотных безымянных станций, каких полным-полно на пути от Фрунзе до Свердловска, вновь ставшего Екатеринбургом. Впрочем, и столицу Киргизии в ту пору уже мало кто называл Фрунзе, все больше – Бишкек.

Плацкартный вагон наш был самый что ни на есть перестроечный: полки, покрытые толстым слоем пыли, грязные разводы на полу – следы недавней «уборки», порезанные сиденья, серые, с желтыми пятнами непонятного происхождения полусырые простыни. Словом, набор того самого «сервиса», обрушившегося на народ после скоростной кончины Советской власти, к которому на удивление быстро все стали привыкать. А что делать – жалобные книги, увы, почтили вместе с социализмом, а капиталистическая конкуренция еще не возродилась.

Но что, бесспорно, осталось от прежних времен, так это надпись, выцарапанная чем-то острым на перегородке над самой моей головой: «Аркадий, п. Московский, 1992 г.». Кто из нас таких надписей не делал. А для чего – пожалуй, никто толком и объяснить не сможет. Наверное, это способ заявить о своем существовании тем другим, которые существуют как бы параллельно и упорно не желают обращать на тебя внимание. Что ж, что-то в этом есть. Я, например, теперь точно знаю, что живет в поселке Московский, что в двух часах езды от Бишкека, некий нехороший человек по имени Аркадий, который портит стены вагонов. В каждом из нас, по-видимому, есть что-то от Герострата.

Хотя стоит ли винить мальчугана, его способ – невинная детская шалость по сравнению с теми, кто ради собственного увековечения посягает на истинные святыни, разрушает устои, перемалывая народы и поколения в мясорубке социальных переворотов, разрушая национальное сознание, ставит над собственными странами чудовищные эксперименты. Впрочем, что о них говорить? Не много ли чести? Вернемся лучше к моему попутчику.

Он был из числа тех, на кого сразу обращают внимание: несмотря на здоровенный рюкзак за плечами, шёл твердой уверенной поступью, ничуть не сгибаясь под тяжестью своей громоздкой ноши. Во всем его облике было что-то крепкое, матерое – то неуловимое, что отличает русского человека. Потертый серый пиджак, старая клетчатая рубаха, широкие суконные, заляпанные воском штаны, огромные, на толстой «альпинистской» подошве ботинки – все это подчеркивало сокрытую в нем силу. Он был стар, но не дряхл, а крепок, как мореный дуб, просоленный временем. Темное, чисто выбритое лицо его производило впечатление довольно странное: глубокие борозды морщин, прорезавшие высокий лоб, казалось, несли в себе одновременно и обретенную с годами житейскую мудрость человека, немало повидавшего, и отпечаток суровых испытаний, которые, по-видимому, выпали на его долю; выцветшие, словно покрытые пеплом глаза смотрели на мир тепло и в то же время печально; массивный подбородок как-то сдвигался в сторону, стоило старику улыбнуться. Лишь одно было несомненным – это очень добрый человек.

Сбросив ношу с плеч, он уселся на нижнюю боковушку, дружески подмигнул мне и, извлекая из своего тугого безразмерного рюкзака пару бутылок пива, вдруг совсем по-свойски спросил:

– Открывашка есть?

Низкий грудной голос его многократным эхом пронесся по вагону так, что из-за перегородок соседних секций повыглядывали любопытные, а я сразу же мысленно окрестил говорящего Громогласным Дедом. Настоящее его имя я узнал чуть позже – Григорий.

– Вот, пожалуйста, – протянул я открывалку.

Он откупорил бутылку и предложил мне:

– Угощайся. – И, видя, что я ищу глазами стакан, добавил: – Да прям из горлышка.

– Спасибо.

Это было уже несколько необычным для нового времени, когда люди начали привыкать, что каждый должен быть сам по себе. И невольно сравнил я старика с остальными пассажирами вагона, жавшимися к своей поклаже, с подозрением поглядывающими по сторонам: «нужно ухо остро держать – сами знаете, какое время настало, бардак кругом». И опять же невольно подумалось: «До чего же народ довели, сволочи. Года два назад еще совсем всё по-другому было».

Старик посмотрел в окно:

– Ну, с Богом... Тронулись, кажись... Ты, я гляжу, нездешний?

– В гости приезжал, – ответил я, прикладываясь к бутылке с пивом; пиво было холодным и слегка горьким, как и полагается ячменному пиву. – К другу. Служили вместе...

– Сразу видно. Весь белый из себя. В гости – это хорошо. Особенно, когда к другу. Я вот тоже в гости собрался... к Курганскому областному прокурору.

Говорил он по-прежнему громко, ничуть не понижая голоса, и при последних его словах, по меньшей мере из-за перегородок трех ближайших купе по обе стороны от нас, высунулись любопытные лица. Громогласный Дед на это никак не прореагировал, словно не замечая их.

– Слух прошел, сейчас репрессированным незаконно компенсацию какую-то выплачивают за землю. Вот и решил съездить, узнать, да и на места эти мне больно охота посмотреть перед смертью. С ними у меня жизнь ой как связана.

Он замолчал, и неясно было, говорил ли это мне, остальным ли попутчикам, или же слова его были неожиданно вырвавшимися наружу отзвуками пережитого, таившегося в самых сокровенных уголках души и вот теперь непонятно кем или чем потревоженного.

Старик похлопал по карману своего пиджака, достал мятую пачку «Беломора».

– Покурю пойду. Ты не куришь? – Это уже опять относилось ко мне.

Я покачал головой. Он печально вздохнул и отправился в тамбур. Мне показалось, что он как-то ссутулился, словно на плечи его неимоверной тяжестью обрушилось вдруг время.

Поезд еле тащился. Лежа на своей верхней полке, я сквозь покрытое грязью мутное стекло лениво разглядывал тянувшийся мимо однообразный пейзаж. Мы уже пересекли границу Казахстана. Киргизия с ее зелеными садами осталась позади, и теперь нас окружала бесконечная степь. Куда ни помотришь, всюду

одно и то же: грязно-желтая от высохших трав надоедливая равнина, редкие холмы, покрытые все той же травой, мелкие, с изрезанными краями овраги, одинокие столбы, часовыми стоящие вдоль дороги, параллельная железнодорожная ветка и снова степь...степь...степь...

– Скучаешь? – раскатистый зычный голос словно гром небесный раздался над самой моей головой.

От неожиданности я чуть было не свалился с полки. Громогласный Дед стоял в проходе, опершись руками на столик, и лицо его было как раз на уровне моего.

– Слезай вниз, поговорим. Все веселей будет, чем в окошко глядеть.

* * *

Мы сидели и разговаривали. О том, о сем. О погоде, о дурной политике нашего руководства, развалившего страну, о рыбалке, охоте и даже о проблеме космических полетов. Словом, это был обычный вагонный разговор, когда ты неожиданно для себя сближаешься с попутчиком так, что хочется рассказать ему самое-самое, а потом вдруг спохватываешься и понимаешь: вот сейчас твой собеседник сойдет на какой-нибудь станции, и вряд ли ты когда-нибудь еще увидишь его. А если и встретишь случайно, то наверняка не узнаешь в толпе спешащих по своим неотложным делам людей. Впрочем, может это и к лучшему, ведь люди часто оказываются совсем не такими, какими стараются себя показать.

Но вряд ли мой собеседник принадлежал к их числу. Он не жаловался на жизнь, «душу не изливал», как это делают многие, не выставлял себя напоказ, как это модно нынче, но и не хаял, что тоже теперь в большинстве случаев используется лишь в целях саморекламы, а если и рассказывал что о себе, то говорил без особых прикрас и преувеличений и потому казался до конца искренним. И это невольно подкупало. К тому же рассказчиком он был великолепным. Конечно, речь его была проста, без новых модных словечек вроде «плюрализм» и «эксклюзивный», но до того он располагал к себе, так увлеченно говорил, вникая при этом в самую суть дела, что я невольно заслушивался. Заметив это, Громогласный Дед неожиданно прерывал свой рассказ и спрашивал:

– А вот ты сам-то как думаешь об этом?

И внимательно слушал, не перебивая, даже если я нес полную чепуху.

Лицо его постепенно преобразилось. Морщины разгладились, в пепельных глазах заиграли веселые искорки, он шутил, смеялся вовсю. Смеялся искренне и беззаботно, как ребенок, и только голос его по-прежнему гремел на весь вагон.

Один за другим к нашей беседе присоединились и другие пассажиры. В большинстве своем это были люди в возрасте, все они ехали с огромными тюками, везли, говоря их же словами, «плоды солнечной Киргизии в суровую Сибирь».

Их тоже сумел разговорить мой старик. Интересно было наблюдать, как постепенно проясняются лица попутчиков, теряя настороженное выражение, как, забыв про свой багаж, люди принимались отпускать реплики по поводу и без. Нет, не умерла еще в нашем народе душа. Не умерла, не очерствела. Не сломали, господа бизнесмены-джентльмены. Натеките-ка вам! Выкусите!

Время летело незаметно. Честно говоря, я уже устал и потому вновь забрался на полку, но слушать не переставал.

Моя соседка по купе, толстая морщинистая старуха в очках, вдруг сказала:

– Пряма не знаю, что делать-то. Как дальше жить? Мы ж теперь здесь вроде как в загранице. Киргизы вон коситься начали уже. Мол, чужаки, понаприехали, уезжайте к себе. А куда ехать? Я ж почти коренная здесь. Как сослали нас сюда, раскулачили, так и живем. С тридцать второго году тут. А ведь, можно сказать, повезло еще. Чем тут не жизнь? Край-то какой – все растет, знай, работай, не ленись. Отец потом на фронте того встретил, который нас сюда сослал, так даже спасибо ему сказал. Представляете? Мол, если б в Сибирь, то неизвестно еще, жив ли бы остался, а на это – грех жаловаться! Веритенет, но так и было, отец сам про это говорил после войны уже. А тот мужик, энкавэдэшник-то, погиб. Вот ведь как оно случается. А вас, – обратилась она к старику, – тоже, наверное, сюда сослали? Вы говорили, что из репрессированных тоже, к прокурору едете.

– Нет, не сослали, – ответил тихо Громогласный Дед, какая-то серая тень набежала на его лицо. – Нет, не сослали, – повторил он, – сам приехал.

И замолчал надолго.

Старушка заерзала на месте:

– Вы простите великодушно, коли я вас обидела случаем. Не хотела я этого.

– Да чего мне на вас-то обижаться? – голос старика вновь приобрел обычную свою силу. – А что замолчал, так оттого, что не люблю я про это вспоминать. Я для себя давно понял: если только об одном плохом помнить, так и жить не стоило б. А вы попробуйте в плохом этом хоть что-то, хоть самую маковку доброго найти. И сам я тем живу, и детей своих этому учил.

* * *

Убаюканный тряской, я погружался в сладкую дрему. Кто-то незримый настойчиво, хоть и не без осторожности опускал мои ставшие липкими веки.

– Сейчас станция будет, – голос Громогласного Деда широкой волной разлился по вагону.

Поезд притормозил. Старик посмотрел в окно, поискал глазами кого-то на перроне, затем, не говоря ни слова, вытащил из-под сидения свой огромный рюкзак, подхватил его сильной рукой и направился к выходу.

Вернулся он через пару минут. Рюкзак его был теперь совсем пустым и оттого походил на сдувшийся воздушный шар.

– Знакомые просили передать, – пояснил он, заметив мой удивленный взгляд.

– А то стал бы я сам с такой тяжестью таскаться. Много ли мне-то одному в дороге надо: рубаха да бельё не смену.

– А сад у вас есть? – сам не зная зачем, спросил я.

– У кого ж в Киргизии его нет? – Старик улыбнулся, отчего челюсть его пошла вбок. – Разве что в городах... Стало быть, и у меня есть. Как же в наше время без хозяйства? Да и на земле работать – первое дело для человека. Спокон повелось зря, что ли. Кто ближе к земле, тому она силы дает. К этому меня отец с матерью с детства приучили. Земли у нас достаточно было, хозяйство крепкое. Но хоть работников держали, а все одно на земле не меньше их работали. Трое нас детей в семье было, я да две сестры. И все при деле, баклуш никто не бил.

Поезд еле тащился, останавливаясь, как говорится, возле каждого столба, и от этого вагон наш походил на проходной двор. Одни пассажиры, не успев сесть, сходили, их место тотчас же занимали другие. Сошла и моя соседка по купе – та самая, которая рассказывала, как ее отца сослали в Киргизию. Я думал, что ее место займет ушедший в тамбур Громогласный Дед, но его опередили.

По проходу, смешно семеня короткими ножками, с большой спортивной сумкой через плечо и двумя полными, с горкой, ведрами алычи в руках, от тяжести которых он согнулся в три погибели, шагал маленький человечек на вид лет пятидесяти. И хотя роста, как потом оказалось, он был не намного ниже среднего, выглядел человек почему-то совсем хрупким. Он улыбался, но улыбка его была какая-то вымученная, неестественная – этакая божья птичка, ангелочек, какими их изображают на своих открытках немые, либо косящие под немых, торговцы, время от времени появляющиеся в поезде. Костюмчик его был староват, но опрятен, как говорится, ни пятнышка.

Заметив свободное место, незнакомец осторожно, будто опасаясь, что его прогонят, присел на краешек, придвинул свои ведра поближе к себе, подозрительно озираясь вокруг (кто, мол, вас знает), но при этом вежливо поздоровался со всеми присутствующими:

– Мир вам, люди хорошие. – Голос его был под стать улыбке – такой же сладковато-вкрадчивый и потому фальшивый. – Пошалуста простите, если помешал вам. – Легкий шипящий акцент выдавал в нем немца. – Меня Степан Карлович звать.

Вернулся Громогласный Дед, взгляд его мельком скользнул по новому попутчику, он чуть заметно улыбнулся, но ничего не сказал, а отвернулся и стал смотреть в окно.

Степан Карлович, как оказалось, молчуном не был. Увидев в моей руке книгу, он не утерпел и спросил:

– Молодой человек, что это вы читаете? – И, услышав в ответ: «детектив», предложил: – Хотите что-то получше? Та и всем, кому нато, у меня Евангелие есть, берите, читайте. Мошно насовсем взять.

И, не дожидаясь ответа, достал из сумки целую кипу брошюр всевозможных форматов и цветов, буквально всучил всем по одной. Довольный своей оперативностью, сказал:

– Это всем нато прочесть. А ешли кому что непонятно, не стесняйтесь, спросите, я поясню. Вы, молодой человек, отчего не читаете? – спросил он, видя, что я отрешенно держу в руках подаренную им брошюру.

Не желая выглядеть невежливым, я раскрыл книгу на первой странице и прочел: «Исаак родил Иакова». Почему-то сразу же напонила сцена из любимого в детстве кинофильма про неуловимых мстителей: экскурсовод, чтобы потянуть время, читает протяжным нудным голосом сгрудившимся вокруг него посетителям музея длинную родословную Христа. Вспомнив отрешенные, отупевшие их лица, я не мог не усмехнуться.

Вопросы к Степану Карловичу были. Мудреные евангельские писания малопонятны и человеку, читавшему Библию, а для тех, кто первый раз взял их в руки, представляют собой и вовсе что-то непонятное. Степан Карлович отвечал неторопливо, с чувством собственного превосходства, как будто уже был уверен о бронированном на том свете хорошем месте. Он, казалось, даже как-

то вырос от собственной своей значительности и хотя и старался вести себя скромно и смиренно, как велит ему христианский долг, значительность эта никак не хотела уместиться в скромных размерах его слабого тела и потому порой нет-нет, да и выплескивалась через край. Он внимательно выслушивал вопросы и, почти не задумываясь, отвечал, но использовал при этом все те же изречения, которые пытался объяснить, потом вдруг, словно спохватившись, добавлял, а вот так об этом же сказано в такой-то главе, в таком-то стихе. И зачитывал вслух. Его голос при этом как-то утрачивал свою слащавость и становился довольно нудным. Слушатели, скорее для того, чтобы подобное объяснение не затягивалось уж слишком надолго, при каждом его «понятно?» согласно кивали головами.

Все это сильно смахивало на недавнюю нашу историю, какой-нибудь очередной партсъезд, когда все делают вид, что внимательно слушают докладчика, кемаря потихонечку, но никто так толком и не может понять, для чего же все это нужно. Впрочем, сегодняшние «маяки перестройки» не намного лучше. Все знают и кричат о том, что надо что-то делать, поскольку «процесс пошел», но вот что именно делать и куда этот самый «процесс» лыжи наострил и почему все так происходит, мало кто понимает, а кто понимает, сидит себе где-нибудь тихонечко да похихикивает.

Степан же Карлович, войдя в роль проповедника, коим, с его же слов, он и являлся, не умолкал ни на минуту. Время от времени он вновь повторял, потрясая брошюрой:

– Читайте эту книгу. Здесь все сказано.

Кто-то из слушавших (а их становилось все меньше) сказал:

– Как вы много знаете!

Степан Карлович не смог скрыть своего удовольствия:

– Это потому, что я читаю Евангелие постоянно. Молюсь Господу, вот Он и тает мне разумение. Вы читайте, я вам тал книги, и вам тоше будет. Читайте! Больше другого ничего не нушно. Пускай, что уготно будет в мире. Это – вечно. Отним этим шить надо, любя всех. И сразу шить легче станет.

– Вот слушаю я, – молчавший с самого появления Степана Карловича Громогласный Дед не выдержал, – ох и врешь ты, дядя!

От неожиданности проповедник чуть было не лишился дара речи: оппонент был явно старше его. Он покраснел, как вареный рак, и лишь спустя какое-то время сумел, наконец, выдать из себя:

– Я вас не понимаю.

– А чего тут понимать? – Громогласный Дед пристально посмотрел на немца, отчего тот сразу как-то осунулся, сделался меньше. – Вот говоришь ты всем, что нужно только одну эту книгу читать, – он указал пальцем на Евангелие, которое держал в руках проповедник. – Хорошая книга, согласен с тобой. Но только как ты прикажешь на то смотреть, что вокруг творится? Страну на части рвут, каждый стремится себе кусок пожирнее оттяпать. Людей какой год за нос водят. А мы, по-твоему выходит, должны молча все это сносить да головы в книжку уткнуть, как страус в песок. Но на то это и птица глупая, чтобы думать, что так ото всех бед укроется. А мы же люди все-таки. Вот ты тут долго про царство небесное, про геенну огненную рассказывал. А не лучше бы было с людьми о жизни поговорить, коли ты человек ученый. Такого ведь многие хлебнули, что адом книжным их не проймешь. Видал ли

ты когда-нибудь, как люди будто мухи от морозу мерзли? Не один, не два – сотнями, тысячами!

Говорил он по-прежнему громко, слова словно разрубали воздух, чувствовалась в них, нет, не озлобленность, а какая-то нестерпимая боль, словно разбредили давно отболевшую, зарубцевавшуюся рану. Лицо его стало суровым, непроницаемым, и, казалось, нет в мире силы, способной смягчить его. А старик все говорил:

– Как скот какой гнали нас на поселение. Были женщины на сносях, рожали, так детей выкидывали, как щенят. Отбирают: все равно, мол, кормить-то вам нечем, отпилился народной кровушки.

Проповедник как-то виновато посмотрел на него и отвернулся.

– Что, дядя, не так складно, как ты, сказываю? Но ты слушай. Я тебя слушал, так теперь и ты меня уважь. Пригнали нас на голое место: «Стройтесь!» А как? Инструмента, и того серьезного нет, отобрали ведь, а у многих и вещей нет. Позволили лишь то взять, что на ком надето было. А уж осень, по утрам подмораживает. Кой-чем на разъезде разжились (там разъезд верстах в пятнадцати был). Стали землянки строить. Мужики на работе из сил выбиваются – хотят до зимы успеть. На той работе отец мой и надорвался. Слег. Лечить бы надо, а нечем. Какие там лекарства, о докторе уж и не говорю... Фельдшера с разъезда привезли, правда, да он лишь руками развел, поздно мол, если бы на недельку раньше хоть... Помер отец. Я в семье за старшего остался. А самому и пятнадцати не было – мальчишка совсем. Морозы ударили. В землянке углы насквозь промерзают. С едой и того хуже. Кору с деревьев есть приходилось – в муку добавляли, чтоб до весны дотянуть. Те, кто покрепче был, держались еще. А кто здоровьем слаб... Много народа та страшная зима унесла, мать мою тоже, сестер...

И потом, в лагере, в сорок восьмом, когда пайки вполовину урезали – вот уж где настоящий ад увидеть довелось. Сколько народу зазря загублено было.

И иуд встречать приходилось. В другом аду. В сорок первом, под Москвой. Как война началась, меня поначалу-то в Красную Армию не брали, раз из спецпереселенцев. А когда немец к самой Москве попер, тут уж не до разбору было, лишь бы столицу отстоять, не вышла у них война на чужой территории. Я добровольцем записался, решил, как бы там ни было, а страну защищать-то надо. Не спорю, и такие были, которые говорили, мол, конец коммунистам придет – всем легче станет. Только есть такая русская пословица хорошая: хрен редьки не слаще. Эти-то хоть свои...

Привезли нас на позиции, путем не обучены все, не обстреляны, едва в шинели одеть успели – и на передовую. И вооружить-то как следует не успели, выдали каждому по гранате, остальное потом подвезут вам, мол, все. Оружие и в бою можно добыть – такие тогда лозунги были. Так и воевали. Один стреляет, а двое ждут, когда его убьют, чтоб винтовку его взять. Не выдержал я. «Что ж, – говорю, – нас как скот на убой гонят? Ведь люди ж мы!». В горячности, конечно, сказал. Да зря. Донес кто-то. На другой день за мной людей прислали, забрали в особый отдел. Вот где я настоящих палачей увидел. Ох, и били меня на допросах. Припомнили происхождение! До сих пор памятка осталась. Я поначалу все пытался объяснить, что никакой я не враг, а потом вижу: что бы ни сказал, все против меня оборачивают. И в чем только ни обвиняли: и что в Красную Армию я нарочно записался, и что агитацию разводил,

уговаривал к немцам переходить... Решил тогда: хоть убейте, слова больше от меня не услышите.

Вот вызвал меня их уполномоченный на допрос. Вопросы задает: кто ваши сообщники? От кого получали задания на проведение агитации?..

Я молчу. Он вконец из себя вышел: «Молчать любишь?! – кричит. – Хорошо! Ты у меня надолго замолчишь!». И заматерился. Сам знак подает. Помощник его, младший лейтенант, молоденький – парнишка совсем, а уж выслуживаться научился, подскочил да как даст мне по лицу. Умел бить, видно, не раз приходилось. У меня сразу челюсть набок, в глазах помутнело. Упал я, кровь изо рта хлынула.

Сдержал уполномоченный свое слово: долго я потом не то, что разговаривать, есть не мог. Кормили-то нас: хлеб-вода – вот и вся еда. Так я хлеб в кружке размачиваю и кашу ту ем. Челюсть-то уж потом, в лагере правил – кирпичи каленые прикладывал, да так до конца выправить и не удалось. Заметили, поди, что когда улыбаюсь, челюсть у меня кривит. Вот тебе, дядя, и жизнь моя вся. Ну, а коли бы, я всего этого на своей шкуре не испытал, так, может, в Библию и заглядывать бы не стал. Но коли живой я после того, что пережить пришлось, так я и без тебя знаю, что Бог есть. К этому каждый человек своим путем, умом своим дойти должен. Ты уж не серчай, что накричал на тебя. Но только не о том ты людям толкуешь, многие из них, поди, побольше меня повидали. Вот сейчас коммунистов все хают, а ведь не совсем же они дураки были: гордился народ родиной своей, это ведь не просто слова красивые, как сейчас представить пытаются. Нельзя же всем сидеть, руки сложить, когда вокруг такое творится. Заврались совсем наверху, а новым нашим «друзьям» иностранным только это и надо. И такое отношение ко всему, за которое ты агитируешь, им ой как выгодно. А скажи мне, разве может человек по-настоящему в Бога верить, коли он о своей стране родной не заботится?

Он встал.

– Ладно, разболтался я что-то с тобой, целую речь задвинул, хоть на митинг прямиком. Пойду-ка покурю лучше.

– Та, многое, по-видимому, человек в жизни испытал, – промолвил Степан Карлович ему вслед. – Но, наверное, не все понял. Как же можно про Библию так говорить? Люди из-за нее шизнью иногда рисковали. У нас есть брат один, Анатолий (у нас все, кто на собрания ходят – братья). Он тоше в лагере сидел. Пять лет. И все время с Евангелием не расставался. Он его в хлебе хранил. Так сказать, хлеб небесный в хлебе насущном. Им пайки хлебные выдавали по столько-то граммов на человека. Режут буханку на части, потом на весах взвешивают. У кого меньше положенного получается, тому довесок дают, маленький такой кусочек. Прямо на палочке и приткнул его к основной пайке. Так Анатолий до чего додумался: мякиш съест, корочку оставит, между двумя корочками Евангелие полошит (она ветвь небольшая книшица) да довесочком и приткнет, как защелкой. Никому и невдомек. Вот какое разумение Господь тем дает, кто в него верует. И что случилось с Анатолием – тому подтверждение.

Их там, в лагере, целый кружок верующих образовался. Собирались где-нибудь в укромном местечке, молились, Евангелие вслух по очереди читали. Однажды собрались, помолились, начали читать. Один почитает, другому передаст, и так по кругу. Дошла и до Анатолия очередь. Вдруг чувствует, кто-то

ему через плечо заглядывает. Оглянулся – солдат-охранник за спиной стоит. Так они увлеклись, что и не заметили, когда он подошел. Приказывает: «Давай сюда, что читаешь!». У брата Анатолия аш оборвалось все внутри. Взмолился он про себя: «Господь милосердный мой, не лишай меня радости видеть слово твое!». И, представляете, посмотрел Евангелие охранник, полистал, повертел в руках, пошал плечами и обратно отдал. Повернулся, ушел. Они упали все на колени, стали Бога благодарить. Вот что вера истинная делает. Уверуйте, и вам то же будет, – закончил свой рассказ проповедник.

Вернувшийся Громогласный Дед молчал, хотя Степан Карлович всем своим видом ждал его одобрения.

– Что вы на это скажете? – не выдержал он наконец.

– Да ничего не скажу. – Дед Григорий пожал плечами. – Наверное, все так и было, как вы рассказываете. Только, признаюсь, ни разу о таком не слыхивал. Повезло брату вашему. Обычно в лагере принято: если шмон наводит начальство, то все отбирают, хлеб – и тот на куски разламывать часто заставляли. А впрочем, спорить не стану, всяко случается в жизни.

* * *

Рыночные отношения на железнодорожном транспорте существовали задолго до начала перестройки, а с появлением данного направления развития экономики социалистического государства и вовсе расцвели. По вагону то и дело шныряли торговцы. Ассортимент предлагаемых товаров был весьма разнообразен, так сказать, полный плюрализм: газеты, фотографии (от ангелочков с пустыми кукольными лицами до голых девиц с выражениями лиц, мало чем отличающимися от лиц поделочных ангелов, – так и неясно, выражали они великое духовное просветление или же экстаз ухоженных похотливых тел; наверное, каждый приобретающий такую продукцию видел в этом то, что ближе ему), какие-то брошюры, карты, брелки, прочие безделушки. Продавали также и продукты: вяленую рыбу, вареную картошку, хлеб, мороженое, ну и спиртное, конечно же.

Мы с Громогласным Дедом, скооперировавшись, накупили пива, несколько вяленых рыбин, взяли бутылку водки, выбрали большой арбуз, и время для нас вновь полетело незаметно. Не раз потом, вспоминая эту поездку, удивлялся я, как умел расположить к себе этот человек. Он был почти втрое старше меня, но разницы в возрасте я не ощущал, и казалось, живи он где-нибудь по соседству, были бы мы друзьями.

Громогласный Дед оказался прекрасным специалистом по части арбузов. Выбранный им арбуз был на славу: едва притронулись к нему ножом, как он с хрустом треснул, обнажив сочную мякоть. Аромат, исходящий от него, был настолько сильным, что сумел, казалось, освежить спертый воздух вагона. Выпив по стопочке, мы принялись за пиво, переговариваясь о том о сем. Предложили выпить и Степану Карловичу, однако тот отказался:

– Спасибо, но мне вера не позволяет.

– Не помню, чтобы об этом в Библии сказано было, – подмигнул мне Громогласный Дед. – Ну тогда вот арбуза попробуйте. – И протянул ломтик немцу.

Проповедник отказывался поначалу, но было видно, что он совсем не прочь отведать такого угощения. Наконец он не выдержал и взял кусок. А потом еще и еще.

– Вот молодец, – одобрил его действия дед Григорий, – а то сидишь один, скучаешь.

В самом деле, проповедник давно уже остался в одиночестве. Слушатели постепенно устали и все под каким-нибудь предлогом один за одним покинули его. Он сидел теперь какой-то печальный и одинокий, как Богом обиженный. Обходительное отношение со стороны Громогласного Деда настолько тронуло его, что он, скрепя сердце, взял из каждого своего ведра по крупной алыче, протер их застиранным вафельным полотенцем, входящим в состав выдаваемого белья, и протянул нам:

– Угощайтесь.

Мне стоило большого труда, чтобы не засмеяться, но Громогласный дед казался невозмутимым:

– Спасибо. Благодарим сердечно.

Степан Карлович был доволен. Он вновь повеселел и, не желая оставаться более в стороне, сказал:

– А знаете, я ведь еще не все про нашего брата, про Анатолия вам рассказал. С ним в лагере и вовсе интересное происшествие случилось немного времени после первого спуска. Хотите, расскажу?

– Рассказывайте, конечно, – согласно кивнул я.

К тому времени на столике нашем уже скопилось достаточное количество пустых пивных бутылок, и мне стало возможным слушать все, что угодно. Громогласный Дед был такого же мнения.

– Ну, если не до конца, то досказывайте, конечно. Всякое дело до конца доводить надо.

– Перед Пасхой перед самой случилось все, – начал Степан Карлович, подвинувшись на самый краешек сидения, чтобы быть поближе к нам. Говорил он как-то особенно вкрадчиво. Его, видимо, очень заботило, чтобы ему поверили. – Я говорил уше, что у них там целый крушок образовался верующих. И хотелось им очень по-человечески, как полошено, Пасху справить. Анатолий две недели постился, паек и так невелик, а он и его не съедал, молился ночами. И представьте себе, за несколько дней до Пасхи вызывают его – посылка пришла. А от кого непонятно – адрес на ящике как бы водой размыт. Да, а родных у него не было никого, вон как у вас. Сирота. Так и не понял он поначалу, от кого эта посылка. Поскольку адрес размыт, подумало начальство, что и содержимое подмокло. Потому, наверное, его и позвали. А могли бы и не отдать. Раскрыли (там ведь проверяется все), а в ящике пакетик. В нем мука, порошки яичные, сало. Это тогда, когда голод во всей стране был. Почтарь его спрашивает, мол, откуда такое богатство. Анатолий плечами пошимаает. Почтарь пошутил таше: «Поди, завел себе какую из вольнонаемных...».

Случайно я взглянул на Громогласного Деда, полагая, что он, как и я, слушает только из вежливости. Но ошибся. Лицо старика побледнело, он буквально приник взглядом к рассказчику. Было в его глазах что-то удивленное, я бы даже сказал, ошарашенное, будто все, что он только что услышал, задело за самое сердце. Но Степан Карлович, увлеченный своим повествованием, не замечал этого. А, может быть, и заметил, но отнес это на счет интересности рассказа.

– Анатолий братьям своим верующим вначале ничего не сказал, захотел сюрприз устроить. Припрятал все до времени. Перед праздником самым напек блинов. Сковородка-то у них имелась.

Вот собрались они все вместе, помолились, псалмы потихоньку попели, пославили Иисуса. Решили было расходиться. Тут Анатолий и достает что-то в тряпицу завернутое. «Угадайте, – говорит, – что это такое?». Те понюхали воздух: «На блины похоже». Тут Анатолий тряпицу развернул. А там на самом деле блины. Все сразу: «Откуда такое?». Рассказал он им все. Встали они на колени, Иисуса поблагодарили. Вот как Господь дает тем, кто в него верует.

– Да... – сказал я, открывая очередную бутылку пива, – интересная история.

Было в рассказе столько напускной праведности, что при всем желании не мог я в нее поверить. К моему удивлению, Громогласный Дед к пиву не притронулся. Он выглядел не просто удивленным, каким бывает человек, услышавший что-то необычное, но поверивший рассказчику, а каким-то подавленным, будто само время обрушилось на него всей своей тяжестью. Казалось, из пепельных глаз его льется на свет божий вековая печаль.

Напрасно я пытался его разговорить. На все вопросы он отвечал коротко. И хотя голос его по-прежнему звучал на весь вагон, чувствовалось, что ему не хочется поддерживать разговор. И лишь теперь, впервые за все эти часы, я буквально на ощупь ощутил тот громадный, непроницаемый пласт времени, разделяющий нас. А ведь я почти забыл о его возрасте, воспринимал как ровесника, друга, которого всегда могу понять. Громогласный Дед уставился в окно, делая вид, что рассматривает дорогу. Но время от времени он молча отхлебывал из стакана, и тогда видно было, как чуть-чуть, будто от волнения, дрожат его сильные руки.

Мне же ничего другого не оставалось, как разговаривать с немцем, который, воспользовавшись случаем, пытался наставить меня на путь истинный, объясняя всю греховность образа жизни современной молодежи.

* * *

Смеркалось. В вагоне зажегся свет, народ постепенно укладывался спать. Давно уже перестали появляться торговцы, прекращались всякие разговоры, и лишь колеса нарушали тишину. Монотонная песня их казалась тоскливой и печальной, какой бывает порой судьба человеческая.

На одной из остановок сошел Степан Карлович. Громогласный Дед проводил взглядом его щуплую фигурку и вдруг сказал:

– Чудно все-таки устроен человек, вот я жизнь прожил, а так и не могу понять, что к чему. Вот иногда человек искренне верит в то, что говорит, а другие ему не верят. А иногда и сам он не ведает, про что рассказывает, а на деле правдой оказывается. Ты пить будешь еще? – Он плеснул водки по стаканам. – Вот только где та граница, за которой правда кончается?

Не чокаясь, мы выпили.

– Извините, – начал я, – вы что, ему поверили? Очередная сказка! Уж больно все гладко у него получается.

– Гладко, говоришь? – Громогласный Дед в упор посмотрел на меня. – В самом деле, гладковато. Только вот правда. Хоть и не вся, но есть правда в его словах. Только ведь это он не про брата какого-то ихнего рассказывал... Про меня это.

– Про вас?! – от удивления я даже привстал.

– Про меня, – повторил он.

– Как?

– А вот так, как он говорил, почти и было все. Конечно, может, это и совпадение, но уж больно похоже. Ты не поверишь, наверное, коли расскажу... Дали мне двадцать пять лет лагерей. Спасибо, что не расстреляли хоть – на мое счастье, немца под Москвой разбили. А то шлепнули б, не церемонясь. Это уж потом в штрафбаты посылать стали, да и то не всех, кого особисты дергали. Я ведь тогда совсем молодой парень был, моложе, чем ты сейчас. Правда, и половины срока не отсидел – девять лет и три месяца. Там такие цифры на память должен знать: в любой момент кто-нибудь из лагерного начальства может подойти и спросить, сколько тебе осталось – должен ответить, не то побьет, а то и в БУР угодить можно... Вот так повоевать мне пришлось... Только перед тем, как посылке прийти той, такое со мной случилось, что до сих пор понять не могу: то ли в самом деле все было, то ли с голодухи привиделось.

Я поначалу-то ничего, крепкий был из себя, уголовники – и те опасались на рожон лезть, но только место это, сам понимаешь, не курорт, понемногу-понемногу, а сдавать начал. В сорок восьмом и вовсе доходить стал. Верно Степан Карлович подметил, голодное время тогда для всей страны было. И на воле хреново с хлебом, а уж в лагере – и вовсе. Пайки вдвое сократили, известно: враги народа – не люди, что на них зазря добро переводить. Весь день ходишь голодный, одна мысль в голове: как бы съестное что найти. Те, кто ходить не могут, лежат на нарах, пока не помрут. И помочь-то им нечем, да и некому. Каждый о себе лишь думает.

Люди сотнями мерли. Каждый день из лагеря полные сани мертвецов вывозили. Нагрузят штабелями, как бревна какие-нибудь. Подвозят к воротам, там охрана свое дело знает: один человек пересчитывает, другой – мертвецам головы ломом пробивает, инструкцию соблюдает. Это на случай, если среди мертвых живой кто спрятался. Часто я думал, какой же человек до такого додуматься мог, до инструкции такой. Хотя, с другой стороны, были, наверное, на это причины. Вот только какие, хотелось бы мне у самого у него спросить, в глаза ему посмотреть. Но это потом уже, после лагеря мысли такие меня одолевать стали. А тогда, самое страшное, что ко всему этому привыкать я начал. Поначалу думал, с ума сойду, неужели кошмар этот никогда не кончится. Но человек существо такое, что ко всему быстро привыкает. И тут опять перед тобой выбор есть, только вот понять-то ой не просто, где та граница, через которую переступить нельзя. Незаметна она, будто ниточка, многие не видят. А переступят – совсем другим человек становится. И не человек уже, а так, подобие его. И тут уже одно из двух: либо становится такой сволочью, что лишь о себе самом думает, как волк дикий, либо в животное забитое превратится. Самое сложное в жизни – человеком остаться. Но да не про то разговор у нас с тобой сейчас. – Он налил себе в стакан, залпом осушил. – Разволновался я что-то. А может, и к лучшему это. Нельзя все в себе держать столько лет. Ты не перебивай только. А ведь я и сам со всем, что там было, свыкся. Самое страшное, когда смиряешься с тем, что вокруг тебя не то что-то делается. Тогда тебя голыми руками брать можно. Знаешь, почему выжить удалось мне? Потому что понял я это. Ой, как понял.

К весне совсем доходить стал, на работу меня не выводили уже. Целыми днями почти с нар не вставал. Чувствовал, что не протяну долго, что скоро и меня из ворот на санях вывезут. Один раз с силами собрался, вышел на свет божий из

барака. Воздухом весенним на меня пахнуло. Чистый воздух, особенно по сравнению с тем, что в бараке. Смотрю, как местами на солнышке снег посунулся, потемнел. В такую погоду радоваться бы надо – все признаки, что зиме конец скоро, ну а мне тогда это за издевку показалось, будто бы кто нарочно надо мной смеется. Не сказать, чтобы уж больно я в Бога верил, но тут взмолился даже: «Господи, возьми ты душу мою, мочи терпеть больше никакой нет!». И как черт меня под руку подталкивает. «Сейчас вот на охранника брошусь, чтоб пристрелили. Все одно – помирать, так хоть чтоб не мучиться».

Но только человек столько живет, сколько ему на роду написано. Кто-то меня сзади за плечо трогает. Оглянулся – какой-то незнакомый человек. Ростом высокий – с меня где-то приблизительно, по одежде вроде как бы ээк: телогреечка на нем без воротника, валенки, ушанка, личный знак на груди с номером, как у всех. А все ж не похож на других – у ээков у всех глаза настояренные, злые, лица темные: хоть каким ты белым будь, все одно почернеет. Мое вон до сих пор не отмылось. А у этого – лицо светлое, чистое такое, глаза добрые, и вроде как свет от него какой-то идет. С добром на меня глядит. «Вот, – говорит, – возьми». И протягивает мне целую буханку хлеба, перед самым носом моим держит. И где взял только – большая буханка, ржаная, домашней выпечки. И такой от нее аромат исходит, что голова у меня кругом пошла. «Ты это чего? – спрашиваю, – не видишь разве, нет у меня ничего». Это я думаю, что он мне обмен предлагает. А сам слюной давлюсь. А он: «Бери, пока дают, чудило!». Я такому не поверил сразу, надсмеяться, думаю, решил. «Ты, – говорю, – ошибся, наверное». Он только улыбнулся, по-доброму так: «Нет, не ошибся». Всунул мне в руки хлебушек, повернулся и пошел.

Я буханку держу, а она теплая, будто недавно выпеченная, смотрю ему вслед, а он сделал несколько шагов и как в воздухе растворился. Тогда мне подумалось, что от голода так показалось – буханка-то вот она, у меня в руках. А я его и поблагодарить не успел.

Была, признаюсь, у меня мыслишка эту буханку самому съесть. Всю, целиком. «Что, – думаю, – не осилю, в снегу припрячу». Только до того мне вдруг совестно стало. «Что ж ты, собака, – сам себе говорю, – совсем не человек, что ли?».

Принес, словом, я эту буханку в барак, разломил на куски: «Ешьте». Ну и себя не забыл. И, поверишь, хоть и досталось мне немного, а наелся я. Представляешь, в первый раз за долгое время.

Я потом долго по отрядам ходил, спрашивал того человека, хотел спасибо сказать. Но никто такого не знает – как в воду канул. Так и не узнал, кто это. Но только с того дня на поправку пошел. Мало-помалу и вовсе оклемался. Летом-то полегче с едой стало. А осенью мне посылка та и пришла. Все как раз, так и было, как Степан Карлович рассказывал. Только не к Пасхе, а в конце сентября где-то. Адрес размыт, да и получать-то мне ее не от кого. У почтаря спросил, от кого, мол. Он в ответ: «Я почему знаю, может, каку себе из вольнонаемных завел, вот и подкармливает».

Вот только, как про это брат ихний Анатолий узнал? Я-то никому про это не рассказывал. И блинов я не пек. Сало так съели, а муку и порошок яичный на болтушку пустили. Не до блинов было.

Старик улыбнулся, глаза его потеплели. Он разлил по стаканам остатки пива.

– Давай допьем, что ли? Заболтал я тебя совсем. А зачем это тебе, спрашивается?

– Да нет, что вы, – запротестовал я, – такое бы каждому услышать.

– И освободился я тоже чудно как-то. Привезли меня в пятьдесят первом году ни с того ни с чего в Курган. Я думал, с этапом куда-нибудь пустят. А меня посадили в одиночку и вроде как забыли. Месяца полтора держали, ничего не говорили. Наконец повели на допрос.

Приводят в большой кабинет. За столом какой-то в гражданском сидит, бумаги читает свои. Сам из себя важный, конвой перед ним в струночку вытягивается, сразу видно – шишка немалая. Голову поднял, конвой отпустил, а сам опять в свои бумаги уткнулся. Я стою посреди кабинета, а он на меня и не смотрит, словно меня вовсе нет. Долго я так стоял, может, час, а может, и больше. Наконец, начитался он своих бумаг, встает из-за стола. Подошел ко мне поближе, но не вплотную, а так в паре шагов от меня остановился. Это в ихних инструкциях предусматривается, чтоб на случай, если зэк бросится, отскочить успеть. Стоит, руки за спину заложил. И я стою. Потом обошел меня кругом, близко однако не подходит, сам внимательно смотрит на меня, пристально так, и говорит:

– Понравился ты мне, Григорий.

Медленно говорит, слова растягивает:

– Пон-равился ты мне, Гри-го-рий.

Сам вокруг меня ходит. Разов пять обошел, не меньше. Потом снова говорит: «По-нра-а-вился ты мне, Гри-го-о-рий». Сел на свое место и опять в бумаги уткнулся. Потом вдруг вызвал конвой и велел меня увести. Так до сих пор и не понял я, чего он от меня хотел-то. Почему по имени называл? Не принято так у начальства с зэками обращаться.

Отвели меня в камеру. И опять, как позабыли о существовании моем. А через пару месяцев выпустили насовсем. И половины срока не отсидел. Вышел. Куда идти и не знаю. Родных – никого. Ни дома, ни работы. В больших городах жить нельзя, да и не испытывал я большого желания – в городе-то легко опять туда попасть, откуда вышел, особо церемониться не станут. Тут как раз народ на стройку в Киргизию вербовали. Ну и я решил счастья своего попытать. И опять повезло мне. Взяли. В пятьдесят третьем, когда Сталин помер, хотел я на родину переехать, да не получилось. Я к тому времени женился уже, ребенок родился, другой потом. Их у меня пятеро – три сына, две дочки. Вот так и получилось, в первый раз за все время сюда и еду.

Я слушал его как зачарованный.

– Ты б пошел, покемарил, поздно уже. Да и я прилягу, устал как-то. Вот покурю схожу, а потом лягу. А знаешь, все-таки хорошо, что немец этот в попутчики попался: не будь его, не стал бы я никому ничего рассказывать. Не случайна эта встреча. Все на свете предусмотрено. У каждого человека – судьба своя. Верить только надо, что все хорошо будет. Нельзя человеку без веры никак. Только не в том она, чтобы поклоны бить да псалмы во все горло напоказ распевать. Нынче это вроде как в моду вошло, целыми толпами народ крещение принимает, а на деле только одна говорильня получается. Сотнями сюда из-за границы проповедники приезжают, чего только не несут в выступлениях своих. И ведь позволяют им. Стадионы целые народу собирают. А на кой они нужны тут? Что, у нас своих священников мало? Страну христианскую христианству учить хотят... Ехали б к папуасам каким-нибудь да и обучали их, коль без этого не могут.

* * *

Он сошел поздно ночью. Свет в вагоне давно отключили, и лишь скудные лампы ночного освещения тупо паялились с потолка. Заметив, что я не сплю, он подошел к моей полке, сказал: «Ну, бывай» и направился к выходу. Я спрыгнул вниз и пошел его провожать.

На улице было прохладно. Подмерзлый воздух искрился в свете фонарей у перрона. Мы стояли на какой-то маленькой станции, вагон наш был в конце состава, и при всем желании я не смог бы прочесть ее название.

– Что-то на Курган не похоже.

– Я раньше решил сойти. Вот где-то здесь недалеко и был тот самый разъезд. Могил родительских не найти, конечно, но хоть перед смертью побываю еще раз в этих местах... Подождет прокурор.

Поезд тронулся. Я пожал старику руку, вскочил на подножку и, не обращая внимания на ворчание проводницы, долго махал ему рукой. Старик одиноко стоял на перроне, и в свете мелькающих фонарей я еще какое-то время мог различить, как холодный туман поглощает его крепко сбитую фигуру. И тут только я понял, что зря не спросил его фамилию. В памяти осталось только имя. Григорий. Красивое имя!